



Евгений Гришковец
Следы на мне (сборник)

«Автор»

2007

Гришковец Е. В.

Следы на мне (сборник) / Е. В. Гришковец — «Автор», 2007

Читая книгу Гришковца, очень легко почувствовать себя автором, человеком, с которым произошло почти то же самое, что и с его героями. Гришковец рассказывает о людях, сыгравших важную роль в его жизни. Какие-то истории, какие-то события – ничего экзотического. Впечатления и переживания, которые много важнее событий. И внимание обращается уже не к героям, а к своей собственной жизни. К себе.

© Гришковец Е. В., 2007

© Автор, 2007

Содержание

...к нашим собакам	6
Декан Данков	8
Михалыч	17
Над нами, под нами и за стенами	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Евгений Валерьевич Гришковец Следы на мне (сборник)

Друзья!
Хороших Вам
Книг!
Находите время для
чтения...
Гришковец

...к нашим собакам

Первую пьесу Евгения Гришковца я услышал задолго до постановки, до культовой популярности спектакля. Именно услышал. Не прочитал «в рукописи», не узнал от автора о будущем «творческом замысле» – просто уловил краем уха в каком-то очередном застолье, в том самом сибирском городе, который в спектакле «Как я съел собаку» называется просто «город» или, иногда, «мой город».

Дело было в конце восьмидесятых, и роли между нами были распределены вот как: Гришковец занимался пантомимой (нет, он играл пантомиму, жил пантомимой!), а я писал о его представлениях заметки в разные местные газеты – от университетской многотиражки до областной, под инопланетным названием «Комсомолец Кузбасса». Гришковец мог показать, выразить телом и жестом абсолютно все: как растут на поле сорняки, пробиваясь меж плодородных злаков, каким манером капает в чай влажная капля с багрового носа вокзального выпивохи – да попросту всё и обо всё! Этот странный человек мог часами показывать, как стоят люди в мороз на троллейбусной остановке, а потом рассуждать – как они могут стоять (будут стоять?) не в декабре, а летом, и не в ожидании троллейбуса, а в очереди за билетами на юг... Картина сменяла картину, рассказчик входил в раж, но в рассуждениях своих обходился почти без слов, ему хватало жестов, мимических импровизаций да еще междометий в особо пафосных местах.

Моя роль была неблагодарной, но я считал ее благородной: надо же рассказать людям о вечном искусстве, нарождавшемся у них прямо под носом, в городе химических заводов и угольных разрезов! Конечно, рассказать надо, тем более что сам-то художник этого никогда не сделает: не умеет. Так мне думалось, поскольку речь гениального мима была маловыразительна, сбивчива, порою невнятна. В тех самых застольных историях, которые потом на сцене превратились в «Собаку...», главное было опять-таки в фактуре, пластике, но совсем не в словах. Так мне казалось тогда.

А вышло всё иначе: еще в сибирскую пору Гришковец впервые стал на путь наибольшего сопротивления – отошел от пантомимы, заговорил на сцене своим непоставленным голосом. Драматург-актер Гришковец сумел подчеркнуть, поставить в центр театрального действия свою сбивчивую, совсем не актерскую речь, которая превращает людей, находящихся по обе стороны сцены, в равноправных собеседников. Голос его звучит теперь уверенно, несмотря на по-прежнему импровизационный стиль и неровный темп монологов.

Ту же демонстративно «обычную» речь сохранил и Гришковец-прозаик. Точнее, так: когда драматург и актер стал еще и прозаиком, он не изменил своей прежней интонации доверительной беседы – теперь уже с читателем. То была, на мой вкус, прекрасная проза, но теперь уже опять прошлая, Гришковец снова сменил курс. В его новой книге круг замыкается: автор вполне мог бы ее рассказать за чаем старым друзьям – как это происходило много лет назад, накануне рождения спектакля «Как я съел собаку». Говоря попросту, читатель получил «Собаку...» в прозе – книжка о живых людях, все названы своими именами, по-честному. Кое с кем я до сих пор дружу, просто общаюсь или работаю, впрочем, новая проза Евгения Гришковца вовсе не рассчитана на тех, кто сам был свидетелем и участником рассказанных историй.

Читая книгу Гришковца, очень легко почувствовать себя автором, человеком, с которым произошло почти то же самое, что и с героями Гришковца. Как соблазнительна эта легкость рассказа: да – и я, и меня, и со мной! Со мною уж точно за годы, проведенные в Сибири, произошла масса подобных историй!

Например? Извольте!

Сибирские люди отучили меня бояться чего бы то ни было – раз и навсегда. Несколько лет подряд, летом и по осени, мне доводилось вывозить стайки изнеженных филологических барышень в притаенную местность. То на фольклорную практику, то на всякие строительные и полевые работы. Первый выезд был особенно памятен. Завезли нас на какую-то бывшую обкомовскую турбазу, под той самой деревней Пача, которую задушевно-иронично запечатлел Гришковец в трогательном рассказе «Михалыч». В первый же вечер приехали на мотоциклах ребята – лыка не вяж ут, обкурены, жажда дев и наслаждений в очах. Я, понятное дело, – к местному сторожу. Он говорит: Петрович, все спокойно, видишь – вон там сарай? И рукою куда-то вдаль машет. – Ну вижусь, отвечаю нетерпеливо. – Ты туда беги, всего пару километров, – там есть конь. Так-так, говорю, и что? А ничё, гляди дальше – во-о-н там дом стоит, километров шесть, сечёшь? Так ты на коня садись и к дому скачи, там – телефон. И вот тут, надо вам сказать, страх с меня и слетел навсегда, суровая правда открылась: возвращаться надо к моим девочкам и чужим мальчикам и до-го-ва-риваться. А дергаться к правовому государству – себе дорожке, в Сибири оно так... Вот с тех пор и не боюсь – никого и ничего!

Но Гришковец не просто пишет, что видит. Его герой хочет во всем толку добиться: планы строит, цели ставит. Но делается это с глубочайшим вниманием и интересом к людям вокруг. Кому хочется планов – строй на здоровье, но другим не мешай жить по их собственному разумению: всяк на свой салтык велик, у каждого своя правда. У Михалыча, к примеру, такая: «Лучше, чем как надо, не надо».

Книга Гришковца – о свободе тихой, ежедневной, его герои не ноют, не унывают, они счастливы достигнутым: великим или малым, не важно. Категорический императив здесь прост и труден одновременно – не выставляй никому категорических императивов, будь внимателен, приглядчив к жизни. Не удержусь от банальной параллели – сходными чувствами озабочены герои самой знаменитой русской книги XIX века – там еще про Наполеона, Кутузова и Наташу, помните? Николай Ростов у Толстого следит, как Долохов сдает карты, и думает: как это так: я всего лишь вижу эти руки, тасующие карты, а в то же время проигрываю состояние и честь?

У Гришковца всё так и не так. Рассказчик не только не знает ответов на разные там «проклятые вопросы», конкретное содержание его историй на проверку вообще не важно. Внимание читателя приковано не к героям рассказов, а к собственной жизни. Как она проходит, складывается в судьбу? Поди попробуй-ка поймать себя на «судьбоносном» событии – ничего не выйдет. Как ни спохватишься, происходит одна ерунда какая-нибудь: ну там – ешь суп, спишь, едешь в автобусе, бессильно в кресле вязнешь по вечерам...

Когда я читаю эту прозу, главная моя эмоция вот такая: и со мной такое бывает, происходит. И значит, не писать я должен, а быть таким же терпимым и твердым, как герои моего друга Гришковца, а знаю я их лично, нет ли – не имеет ровно никакого значения. Собрать себя по крупицам в борьбе с упрямыми ежедневными мелочами, складывающимися в жизнь, – думаю, к этому побуждает своего читателя Евгений Гришковец. Это – сегодня, а что будет потом, Бог весть... Что ж, подождем, а пока что – раскроем книжку и вернемся к нашим собакам... К своим... К себе.

Дмитрий Бак, литературный критик, профессор РГГУ

Декан Данков

Деканом филологического факультета Кемеровского государственного университета, когда я в него поступил, был Василий Николаевич Данков. Он был деканом с незапамятных времён, и с незапамятных времён копились страшные истории о нём. Данкова боялись все без исключения, и все его не любили или даже ненавидели. Все, даже те единицы, к которым он благоволил.

Знакомство моё с деканом произошло в первый же день занятий во время первой же лекции, которую я слушал в университете в качестве студента. Я весь был преисполнен благоговейного трепета и радости. Я впервые сидел в большой университетской аудитории, где столы и сидения уходили от кафедры вверх крутым амфитеатром. Навсегда запомню, что это была лекция по введению в языкознание, и читала её настоящий профессор по фамилии Орёл. Это была дама, в которой её профессорское звание чувствовалось... даже в том, как под её ногами скрипели доски на полу за кафедрой.

Как только началась моя первая лекция и только зазвучал профессорский голос, мы – первокурсники, ещё не знакомые друг с другом юные люди – затихли и стали думать о том, слушать то, что нам говорят, просто так или уже надо конспектировать, а если конспектировать, то как это делается... Вдруг всё это чудо вступления в студенческую жизнь и начало погружения в науку было прервано громким скрипом резко открытой двери.

– Извините, – услышали мы громкий взрослый голос. – Я прерву вас на минутку.

– Ой, – сказала профессор Орёл совсем не профессорским голосом и как-то по-бабьи махнула рукой. – Да ради Бога, разве я могу возражать, – сказала она, отвернувшись от нас и пошла к окну с безучастным видом, совсем как обычный человек. Языкознание исчезло из воздуха аудитории.

А к кафедре быстро подошёл невысокий такой дядька, в очень помятом и сильно заношенном сером костюме. Весь облик этого человека совершенно не вязался в моём сознании со словом УНИВЕРСИТЕТ.

Он был совсем невысокого роста. Абсолютно без шеи. Ну, то есть, совсем. Его голову запросто можно было назвать «головища» или даже «башка». Волосы на этой голове были необычно длинными для пожилого, даже почти старого человека, да ещё и в таком костюме. Косматые брови... Всё было давно не стриженное и непричёсанное.

Лицо его мне не показалось ни умным, ни глупым, ни добрым, ни злым. Лицо себе и лицо.

Рубашка была застёгнута на все пуговицы, галстук отсутствовал. Пиджак был заношен очень сильно, рукава его были короткие, и из них далеко торчали чистые манжеты рубашки и огромные руки. Эти руки были такие большие, что казались отдельными.

Брюки тоже были очень короткие, так что не доходили до щиколот сантиметра на три-четыре. Размер ботинок этого человека совершенно не соответствовал его небольшому росту. Ботинки были здоровенные, с побитыми носами и на довольно толстой резиновой подошве. Эти ботинки издавали при каждом шаге даже не скрип, а визг. Причём визг правого был выше визга левого. Этот визг знал и помнил каждый студент филфака, учившийся в мою бытность. Мы выделяли этот звук из всех звуков и шумов и знали о приближении этих ботинок задолго до появления их обладателя из-за угла или из-за двери. Я думаю, повизгивание этих ботинок многим снилось в самых страшных студенческих снах, а, может быть, кому-то оно снится до сих пор. Кстати, должен сказать, что в другой обуви мы этого человека никогда не видели.

Я не рассмотрел его внимательнее тогда, я просто не знал, кто передо мной.

– Здравствуйте! – немного запыхавшись, сказал он и быстро обвёл всю аудиторию взглядом. – Меня зовут Василий Николаевич Данков, я ваш дэкан, – он подчеркнул звук «э» в слове «декан». – Как вас зовут, я пока не знаю. Мы с вами ещё не встречались, но прошу меня запом-

нить, – тут он сделал паузу, будто для того, чтобы мы лучше могли его рассмотреть и запомнить. – У меня короткое объявление для тех, кто будет проживать в общежитии. Здесь у меня список тех, кому после третьей пары нужно будет подойти к коменданту общежития.

Он достал из бокового кармана пиджака сложенный вчетверо и сильно помятый лист бумаги, развернул его и поднёс к глазам. Потом он положил этот лист на кафедру и стал обшаривать карманы брюк и пиджака.

– Вот незадача, – громко, но сам себе сказал он. – Ладно. Я забыл очки, – это он сказал уже всем. – Старосты групп... хотя вы же ещё не выбрали старост. Ладно. Кто-нибудь по окончании лекции прочтите этот список, и все, чьи фамилии в этом списке, после третьей пары должны явиться к коменданту общежития. Это обязательно.

Пока он говорил, я не сводил глаз с нагрудного кармана его пиджака, из которого торчали очки.

– Простите, – сказал я, когда он закончил.

– Что такое? – повернулся он в мою сторону, но меня не разглядел.

– У вас очки в нагрудном кармане, – сказал я громче прежнего.

– Спасибо, – очень резко сказал он и быстро надел очки на лицо. – Кто это сказал?

– Я, – сказал я.

– Кто это Я? – еще резче сказал он. – Встаньте.

– Я сказал, – сказал я робко и встал.

– Ага! Понятно. Спасибо, – сказал он медленно, внимательно меня рассматривая.

Сказал и быстро вышел из аудитории, повизгивая ботинками. Исчезая, он громко захлопнул дверь.

– Как опрометчиво вы высказались, юноша, – услышали мы от окна голос профессора Орёл, – ох, опрометчиво. Ну зачем вам было это нужно! Трудно же вам будет здесь учиться. И вообще, наверное, будет трудно. Осторожнее надо... А впрочем, продолжим... Основным объектом изучения...

Как же она была права! Всё-таки профессорами в те времена становились только достойные этого звания люди.

Василий Николаевич Данков, наш декан, невзлюбил меня сразу. Нет, не подумайте, он не обиделся, не рассердился, не счёл моё замечание и моё обращение к нему дерзостью... Он просто разглядел меня и запомнил. Он не любил всех. Вообще всех... Не знаю его отношений с родственниками и знакомыми, но студентов, преподавателей и прочих сотрудников он не любил. И тут лучше было быть частью нелюбимой им человеческой массы, чем конкретным человеком. То есть он меня разглядел, запомнил и невзлюбил конкретно и персонально.

Только теперь я догадываюсь, какой трудной и несчастной была его жизнь и работа. Он придавал огромное значение и непреклонно настаивал на посещаемости лекций, особенно первых утренних лекционных пар. Его не так интересовали оценки студентов, как их присутствие на занятиях. И он за этим следил. Ох, следил!

Должен напомнить, что Данков был деканом филологического факультета Кемеровского госуниверситета. То есть факультета, который выпускал и выпускает в основном будущих учителей русского языка и литературы. А это значит, что на девяносто пять процентов студенческий состав филфака был... женский. Точнее, девичий. А девчонки, которые поступали на филфак, в основном были из райцентров, городков, посёлков и деревень. Очень редкие парни-филологи, были... как бы это сказать... очень странными парнями (кроме меня, конечно). Я это к тому, что в общежитии жило больше половины всех студенток нашего факультета.

Очень часто Данков врвался в самом начале первой лекции в аудиторию, быстро делал переключку, быстро устанавливал отсутствующих, потом по списку узнавал, кто из них живёт

в общежитии и в каких комнатах. После этого он бежал туда. Редко когда кто-нибудь мог опередить его и предупредить несчастных.

Он как какой-то неукротимый смерч проносился по этажам, без стука вламывался в комнаты, а если двери были закрыты, он сотрясал их такими страшными ударами или даже выбивал эти хлипкие общежитские двери. Нагота, визги, застигнутые в утренней неге парочки не смущали его. Он забегал в комнаты, срывал со спящих или уже проснувшихся одеяла, бросал эти одеяла на пол...

– Это так вы учитесь! Приехали изучать словесность! Зачем вы приехали? А-а-а?! – орал он.

Говорили, что одна третьекурсница запустила в Данкова тарелкой, когда он ввалился утром в их комнату. Данков ловко тарелку поймал одной рукой, сказал: «Та-а-а-к!» – и раздавил эту тарелку своими огромными пальцами и побежал дальше.

После такого рейда Василий Николаевич вызывал всех застигнутых к себе в деканат и по одному, а точнее, по одной карал. Всех доводил до слёз. Это было обязательно. Об этом знали. Но слишком быстро пускать слезу тоже было нельзя. Он не верил быстрым слезам. Те же, кто решался бороться и не плакать... Короче, плакали все.

На первом курсе я мало сталкивался с деканом: во-первых, я дисциплинированно учился, не болел и посещал все лекции и занятия, во-вторых, я имел отличные оценки. Но после первого курса меня забрали служить. Попал я на флот и прослужил три года. По возвращении я был уже другим. У меня был более конкретный и целенаправленный интерес к филологии, то есть более избирательный интерес. Но меня ещё сильнее интересовала жизнь, а значит, я давал много поводов Василию Николаевичу Данкову быть мною недовольным и вызывать меня к себе в кабинет.

Это был более чем скромный кабинет. Не помню этого кабинета. Главное в этом кабинете был сам Данков.

Даже вернувшись со службы на флоте и, казалось, насмотревшись разных людей и ситуаций, я не без содрогания заходил в кабинет к Данкову. На меня он не кричал после моего возвращения с флота. Он меня ненавидел особым образом. Сам он в армии не служил и с теми, кто побывал в Вооружённых силах, сталкивался редко. Он, видимо, догадывался, что орать на меня бесполезно, и ещё он подразумевал какой-то неведомый ему опыт, который был у меня. Поэтому он смотрел на меня просто с брезгливым презрением, морщился и покачивал головой. Это у него получалось здорово. Было обидно.

А однажды я не выдержал такого его взгляда, что-то дерзко ему сказал. Он как-то подался вперёд, точнее, в мою сторону, стал привставать из-за стола, мне даже показалось, что он хочет меня ударить. Но вместо этого он, глядя мне в глаза, нашарил на столе обойный гвоздь, их на столе зачем-то лежало несколько, взял его и большим пальцем левой руки вдавил в полированный стол по самую шляпку. От этого по полировке побежали трещинки. Данков был страшно сильный.

На всех собраниях, когда собирался весь факультет, он нас ругал. Ругал сильно, разнообразно и изобретательно. Его ругань перерастала в речи. Все эти речи сводились к тому, что он не понимает, зачем мы, студенты, изучаем русскую словесность, зачем мы пытаемся читать книги, зачем мы мешаем жить хорошим людям (кому именно, он не уточнял), зачем мы мучаем его, зачем мы поступили в университет, дышим, родились.

Иногда Данков доходил в своих выступлениях до того, что неожиданно останавливался, делал шаг назад и тщательно и долго всматривался в наши лица, переводя взгляд с одного лица на другое. Его же лицо в этот момент вздрагивало от мучительной судороги. Весь он выражал в этот момент полное и отчаянное непонимание.

Он смотрел на нас, то есть, в основном, на девчонок из всех этих сибирских городов-городков, посёлков-деревень, неожиданно трагически хватался за голову и как бы сам себе гово-

рил: «Горе-то какое! Горе! Вы же не понимаете, какая беда случилась! Что же вы с собой сделали! Вы же несостоявшиеся доярки!!! Доярки!!!»

Я никогда не видел Данкова весёлым или хотя бы улыбающимся. Он терзал нас и мучил не из удовольствия, он и сам, очевидно, страдал всё время. Когда он добивался отчисления или недопущения до сдачи сессии очередной несчастной жертвы, он не торжествовал, он горевал. И ещё на его лице всё росло и накапливалось выражение непонимания того, что происходит в мире и что творится с людьми.

Данков частенько подчёркивал то, что он никогда не был членом коммунистической партии. Он не боялся ничего и никого на свете. Он говорил, что если бы он вступил «в своё время» в партию, то сделал бы совсем другую карьеру, но он в партию не вступил по «принципиальным соображениям». Какие это были соображения, оставалось не ясно. Видимо, он просто не терпел над собой никакого руководства. Распоряжения ректора университета и сам ректор ему были нипочём. Он не проявлял ни малейшего страха или хотя бы уважения к периодическим комиссиям и проверкам. Как он при всём этом стал деканом, мне непонятно. А главное, зачем? Я думаю, что это было непонятно ему самому. Правда, во всех его действиях и поступках чувствовалась какая-то жертвенность. Хотя Данков, плюс ко всему, был явным атеистом и слегка сомневающимся антисемитом. Я больше никогда не встречал сомневающих антисемитов. Наверное, это очень редкий случай, если не уникальный.

Те, кто учился со мной, и я сам, мы застали Данкова на пике его сомнений, страданий, но и в пике формы. При нас он достиг вершин мастерства своей странной жизнедеятельности. И у нас же на глазах он утратил свои жизненные силы и лишился могущества. Просто при нас его мощное недоброе сердце не выдержало и дало сбой. Данков заметно удивился предательству, которое совершили его собственные здоровье и организм. При нас он стал часто посещать врачей и подолгу лежать в больницах, а потом тихо и незаметно покинул деканат. Но это произошло в самом конце моей учёбы в университете.

Василий Николаевич преподавал историческую грамматику. Проще говоря, он преподавал старославянский язык. Этот предмет входил в программу третьего курса. Далеко не всем удалось преодолеть Данкова-преподавателя. Никаких лазеек при сдаче экзамена Данкову быть не могло в принципе. То есть предмет надо было знать, а знать этот предмет было невозможно!

Преподаватель и специалист он был выдающийся. Все знали, что он был одним из глубочайших знатоков в своей области. И все также знали, что из-за того, что он стал деканом, ему пришлось отложить написание докторской диссертации. Об этом он часто и трагически сообщал, и, конечно, мы были во всём виноваты.

Я чертовски плохо учился у Данкова. Я не мог найти смысла, а стало быть и сил, для изучения этого сложнейшего предмета. Историческая грамматика! Понимаете?! Это же грамматика уже не существующего, мёртвого языка... Языка церковнославянских текстов. Классический и фундаментальный предмет! Данков страстно любил его. А мы не любили. От этого пропасть между нами только увеличивалась, хотя и без того эта пропасть была необозрима.

С каким упоением он читал нам лекции, как каллиграфически он выводил на доске старославянские буквы и слова! Когда он говорил, он старался на нас не смотреть. Лицо его в эти мгновения было почти благородным. Мы же старались не то что не шуметь, а не дышать. Если бы мы могли стать прозрачными, мы сделали бы это.

Данков слышал каждый звук в аудитории. Если кто-то ронял ручку или чихал, он реагировал на это, как сторожевой робот из фантастических фильмов. Он тут же оглядывался на звук, вспоминал, что мы – это мы, он видел нас, возвращался к действительности, и лицо его искажала мука отчаянного непонимания... Непонимания, зачем всё это...

А если он замечал, что кто-то клюёт носом, дремлет или спит... Его рука, в которой был мел, вскидывалась для броска... Но он не бросал мел. Видимо, он понимал, что может убить. Он тихо рычал, а кусок мела крошился в его пальцах. (Я не преувеличиваю. Так оно и было.) В такой позе он замирал секунд на пять-десять. Мы в это время просто не дышали. Потом он горестно обмякал и ещё более горестно говорил нам что-нибудь очень обидное и неожиданное.

– Как же вы не видите-то, а? Вы же в зеркала-то смотрите! И как же не видите?! Вы же не видите ничего! – сказал он однажды очень искренне. Говорил он тоном человека, который наблюдал страшную и впервые открывшуюся ему истину. – Посмотрите на себя! Вы же чудовищное сборище насекомых...

Не хотел бы я тогда увидеть нас его глазами!

Данков был всегда неопрятно одет. Костюма у него было два, один тёмно-серый, другой светло-серый. Оба старые, сильно запятнанные, давно или никогда не глаженные. Галстук он надевал редко и непонятно в связи с чем. Появление галстука не было связано с торжествами, официальными событиями или с экзаменами. Просто иногда он надевал галстук. Рубашек у него было несколько, они были все очень простые, сильно заношенные, с потрёпанными воротничками, с не всегда одинаковыми пуговицами, но всегда чистые. Старый-старый портфель, старые часы на руке, старые визгливые ботинки. Стригся он, по-моему, раз в год, и то летом, когда мы его не видели. Он не придавал никакого значения вещам. Машины у него не было. Детей?.. Не знаю. Но детей, о которых надо было заботиться, точно не было. Дачи не было. Жена была, а женщины или женщин не было. И желания что-либо такое иметь тоже, очевидно, не было. Куда же он девал значительную свою деканско-доцентскую зарплату? (Тогда в 70—80-е они получали хорошо). Он ничего на себя не тратил. Но было видно, что и деньги сами по себе его не волнуют.

Позже, когда Василий Николаевич сильно болел, кто-то из студентов был послан факультетом к нему домой. Не помню, кто это был, но моментально распространилось описание жилища Данкова. Всем было интересно. Никто не мог себе представить декана обычным человеком в обычных жилищных обстоятельствах и условиях. Вообще сложно было представить себе, что у него есть некий дом, там есть кровать и он на ней спит. Спящий Данков... как это может быть?

Данков не подвёл. Тот или та, кто был у него дома, сообщал(а), что там всё очень скромно, а точнее, просто спартански. Всё бедненько... Но библиотека занимает всё пространство стен его деканской немаленькой квартиры. Было сказано, что библиотека огромна, в идеальном порядке и состоит из старых или даже старинных книг.

По улице Василий Николаевич ходил в некогда голубом, но от воздействия дождей, ветров, пыли и редких стирок ставшем голубеньким плащике. Он ходил в нём до холодов. Зимой он носил пальтецо без шарфа и старую кроличью шапку. Визгливые ботинки были на все времена.

В таком его подходе к одежде не было вызова или позы. Он просто не придавал этому значения. Но коротких юбок, яркого макияжа, причёсок и вообще женской красоты он терпеть не мог. Он её не выносил и с ней боролся.

Все знали, что к нему на экзамен нужно одеваться, как на поминки, иначе он сразу выгонит. Но лучше было так одеваться на все его занятия и лекции. Бедные девчонки! Они не всегда могли с этим справиться. Всех модниц и всех красавиц он карал и сильно усложнял им жизнь.

Но были и те, к кому он благоволил, кого он выделял и даже о ком заботился. В каждой группе была хотя бы одна такая барышня. Чтобы понравиться Данкову, нужно было в свои девятнадцать-двадцать лет выглядеть, как сельская учительница с тридцатилетним стажем. И находились такие. Такие толстопятые, в коричневых платьях, серенькая старенькая шаль на плечах, когда за окном аудитории декабрь, а в аудитории сквозняки. Такие тихие девчонки,

с аккуратными тетрадами, конспектами, с очень средними оценками в зачётке по всем дисциплинам, с короткими прямыми ресницами, потупленными взорами... Утром у них такие лица, будто они плакали всю ночь. Лица у них такие потому... потому что они действительно плакали.

Вот такие могли понравиться Данкову. Правда, при условии, что они сидели на его занятиях на первой парте, всё записывали, занятий не пропускали, а главное – иногда задавали ему вопросы. Как он любил вопросы! Не любые вопросы, а сложные, очень специальные, и самое главное, конкретные вопросы. Такие вопросы, которые говорят о глубоком проникновении в предмет. Но самое важное, чтобы вопрос был задан вовремя, тогда, когда ему этого хотелось, то есть в конце занятия. Как теплел его взгляд, как изменялось его лицо, когда он слышал такой вопрос! И отвечал он всегда блестяще. В такие моменты он, наверное, был близок к радости.

В нашей группе была как раз такая барышня. Звали её, если не ошибаюсь, Вера. Только её одну Данков называл по имени, остальных либо по фамилии, либо никак. Вере Данков поручал всё на свете, её он первой спрашивал, её щадил, если она путалась или запинаясь во время ответа. Сидела Вера на первой парте.

А вот студентка К. была наоборот... Ровно наоборот. (Кстати сказать, она недоучилась до конца, была отчислена с третьего курса.) Нельзя сказать, что она была красавица, но юбку носила очень короткую, красилась с самого утра самым боевым образом. И даже не пыталась изобразить, что готовилась к занятиям. Занятия Данкова она посещала через раз, правда, старалась держаться поскромнее в дни исторической грамматики.

Но в тот день она выглядела лихо даже для самой себя. Юбка была такая короткая... Помню, Данков зашёл в аудиторию, мы встали, сели. Он поздоровался и вдруг уставился на К. Он долго рассматривал её.

– Вера, сообщите мне об отсутствующих, – вдруг тихо, не сводя глаз с К., сказал Данков.

– Сегодня отсутствующих нет, – встав, сказала Вера.

– А вот и есть, – сказал Данков.

– Нет, Василий Николаевич, вся вторая группа присутствует, – тихим голосом ответила Вера, через паузу.

– Нет, Вера, не вся! Не спорьте со мной. Студентки К. нет, – сказал Данков, не сводя глаз с К. – Правда, это я говорю об очень скором будущем. Кому-то может показаться, что она здесь, а на самом деле её уже здесь нет. Встаньте, К.!

К. закатила глаза и со вздохом медленно встала.

– Спасибо, К., – сказал Данков. – Теперь мне хотя бы не видно ваших трусов. Это что же такое на вас надето, а?

– Что вы... – попыталась дерзко что-то сказать К.

– Молчать! – заорал Данков. – Как вы явились в Университет! – на слове «университет» он поднял правую руку вверх и потряс огромной своей пятернёй. – Вы не на панель здесь вышли. То, что вы не брали в руки учебники и не ходили в библиотеку, это мне ясно. Но у вас же в глазах знаете что?! Ничего!! Сколько вы провели у зеркала? А? Сколько вы смотрели на себя, чтобы так себя разукрасить? Как мне вас жаль! Видеть в зеркале такой ужас, какой видите вы! Это действительно ужас. – Он покачал головой очень скорбно. – Скажите мне честно, я не понимаю! Вот вы накрались, оделись, посмотрели в зеркало и остались довольны? Вам нравится то, что вы увидели, а? Вера, скажите мне! Что, вот так, как она ходит, – это нормально? Вот что, К.! Убирайтесь отсюда вон! Вон отсюда!

К. медленно вышла из аудитории и медленно закрыла за собой дверь.

– Кошмар! Ужас! Неужели вам всем нравится, как она одета и как она явилась в Университет? – он сделал паузу. – А вам, Вера, нравится? – Вера потупившись сидела и молчала. – Почему же вы молчите, Вера? Может быть, я человек другой эпохи. Может, я не понимаю. Но вы-то, Вера? Я вот не могу вас представить в таком виде, – сказал он Вере, а потом перевёл

взгляд на всех. – А вот вы можете представить себе Веру, чтобы она так вырядилась и явилась сюда в таком виде?! А?!

Аудитория молчала, но было слышно, что все вдыхают побольше воздуха в лёгкие.

– Не-е-е-ет! – раздался радостный, громкий хор.

Вера схватилась за лицо руками, согнулась, потом вскочила и выбежала из аудитории прочь. Данков замер в недоумении и растерянности.

Вера потом пропустила несколько дней занятий.

Данков очень серьёзно относился к отправкам студентов на сельхозработы. Он понимал, что сельхоз-работы – дело для студентов университета необязательное, и карать за пропуски этих работ так же, как за пропуски лекций, он не мог. Но он запугивал юных студенток, агитировал и сам часто выезжал на поля. Осенью нас обычно отправляли на уборку картофеля, моркови или турнепса. Первые несколько дней это было весело, а потом наши ряды редели, а те, кто выезжал на работы, работали плохо, вяло и неэффективно. Зато обеды в поле проходили шумно, радостно и подолгу.

Василий Николаевич не стоял у нас над душой, не командовал и сам не работал. К нашим трапезам он также не присоединялся, даже если мы его приглашали. Сам он ничего с собой не брал. Ничего: ни бутербродов, ни термоса с чем-нибудь горячим, ни даже бутылки воды. Он приезжал, выходил из автобуса и бродил один по полям или вдоль поля по лесополосе. В своём голубеньком плаще он был отлично виден. Он очень выделялся на фоне осеннего сельского пейзажа.

Данков ходил, бросал на нас издали укоризненные взгляды, печально складывал руки за спиной или брал комок земли, растирал его в ладонях, пробовал землю на язык, вздыхал и медленно высыпал землю. Когда мы весело обедали, он сокращал расстояние. От его взгляда кусок застревал в горле.

Однажды, когда мы вечером, усталые и грязные, ехали после уборки картофеля домой, Василий Николаевич неожиданно заговорил. В тот день нас выехало в поле меньше половины от общего числа студентов нашего курса, и работали мы тогда ну совсем плохо. При нём в автобусе не шумели. Если кто и говорил, то только с соседом, да и то вполголоса.

– Да-а-а! – неожиданно сказал он громко. – Кака я земляница в Сибири. Чёрная, жирная! Какую картошку она родит! Загляденье! Руки только надо приложить. Так нет! Все поразбежались по университетам, по институтам! – он помолчал минуту. – Мы после войны только на картошке и жили. Мороженую картошку пробовали? – он оглядел нас, а потом махнул на нас рукой. – Я после войны учился в Тамбове. Всё время хотелось есть. Месяцами целыми есть хотелось. Вагоны разгружали по ночам. Нам за это картошку мороженую давали, а иногда, очень редко, хлеб. Хороший хлеб, настоящий. Так я этот хлеб не ел. Я шёл с ним на рынок и обменивал его на книги. Помню, выменял на четверть пшеничной булки том седьмой прижизненного издания Тредьяковского. Счастлив был, – он задумался, вздохнул. – В том же году выменял ещё и Паустовского с автографом. Паустовского! Хотя, что для вас Паустовский? Что для вас русский язык? Что для вас книга? Трудиться вы не умеете, не хотите, землю не любите... – он опустил голову на грудь горестно и вместе с тем совершенно по-детски. – Я-то на земле потрудился, я её держать в руках умею. Книгу так же надо в руки брать. Книгу... Да о чём с вами толковать? – больше он тогда ничего не сказал.

Мне повезло. Я не сдавал Данкову экзамен по исторической грамматике. Я бы его ему не сдал. Не сдал бы никогда и ни при каких обстоятельствах. Во-первых, я плохо знал предмет и как-то не мог себя заставить узнать его лучше, а во-вторых, Данков знал это, помнил и ждал. Своего шанса встать на моём пути к получению диплома об окончании университета он не упустил бы. Но когда пришло время этого страшного испытания, Василий Николаевич в пер-

вый раз и надолго слёг с больным своим сердцем в больницу. Он слёг неожиданно и надолго. И мне удалось сдать тот экзамен на заслуженную жидкую троечку ассистенту Данкова, которую звали мифически-символично. Ариадна Александровна, вздыхая и предвидя неизбежный гнев, громы и молнии, вывела в моей зачётке «удовлетворительно» и поставила свою подпись там, где должен был расписаться Данков, но никогда не расписался бы.

Когда Данков вернулся из больницы, он несколько дней не показывался в университетских коридорах. А потом мы встретились. Я, помню, шёл из столовой, спешил к третьей паре и издалека, из-за угла слышал визг его ботинок. Первым желанием было развернуться и бежать, но я не сделал этого. Я только почувствовал холодок, который заструился по спине, и чуть-чуть замедлил шаги. И вот из-за угла появился декан Данков. Он был бледен. Он никогда не был румяным или загорелым. Но в этот раз он выглядел бледным и каким-то нестрашным. А может быть, мне так показалось, потому что экзамен был уже позади и власть Данкова надо мной и моими страхами практически улетучилась. А ещё мне было слегка совестно, я чувствовал, что как-то схитрил, как-то обвёл неизбежный рок вокруг пальца.

– А-а-а! – сказал он издалека. Сказал негромко, но как-то особенно брезгливо. – Улизнул? Выскользнул? Скользкий ты тип, оказывается. Ну что ж. Так и скользи по жизни, вейся ужом, – продолжил он, скривившись. – Получай свой диплом. Считайся филологом. Что с вами сделаешь?! Давайте! Давайте... – он на миг задумался. – Но я тебя коллегой не назову никогда. Ты же не глупый, ты же сам знаешь, что скользишь по верхам. Всё по верхушечкам! Но ничего, жизнь она не... – тут он опять запнулся, – хотя какая теперь жизнь...

И он зашагал мимо меня прочь. А я так и стоял, пока визг его ботинок не растворился в шуме и гаме радостных юных голосов снующих туда и обратно таких же, как я, студентов.

Не могу сказать, что я обманул тогда Данкова. Всё с этим экзаменом было со всех формальных и неформальных сторон честно и нормально. Но до сих пор у меня остаётся ощущение, что тогда я нарушил какой-то серьёзный закон, совершил какое-то преступление, вывернулся, отмазался...

А как много людей не вывернулись. Какому большому количеству молодых людей Данков сломал жизнь, ну а если и не сломал, то уже точно изменил, нарушил, нанёс тяжёлые раны и обиды. Зачем, почему, с какой целью?!

Он, конечно же, был злодей. Именно злодей. Есть такое слово в русском языке. Он не был негодяем. И подлецом не был. Если бы я понимал, зачем он делал то, что делал, то, наверное, смог бы обвинить Данкова в какой-то корысти. Обвинил бы и успокоился. Но не могу успокоиться. Не понимаю!

Непонимание – это главное, что связывает меня и мои воспоминания с Василием Николаевичем. Я не понимаю, как из парня, который родился где-то под Тамбовом, который с юности фанатично любил и был предан лингвистической науке, русской словесности и всему тому гуманистическому, живому и прекрасному, что хранили и хранят те книги, которые он с таким трепетом брал в руки, постигал их, любил... Как из него получился такой злодей? Как он оторвался от той земли, которую понимал и знал много лучше, чем мы? Как он оторвался от людей и остался среди книг, и как книги умерли в его руках и превратились в тексты? Я не понимаю.

Василий Николаевич знал, конечно, знал, что мы его не любим, что его никто не любит (я не говорю про его родственников и знакомых, я их не знаю). Он не искал нашей любви. Ему она была не нужна. Ему ничего не было нужно из той жизни, которой жили мы. Как это случилось? Как произошла такая беда? Что сделал этот человек не так?

Василий Николаевич, я убеждён, не замечал тех изменений, которые происходили в стране и в жизни. Изменения его не интересовали. Он видел только конкретные проявления этих изменений, категорически их не принимал и так же категорически с ними, а точнее с

нами, боролся. Он остро ощущал своё одиночество в этой борьбе. Чего он хотел? Чего добивался? Не понимаю! Но уверен, что он не понимал нас сильнее, потому что нас было много.

И ещё я не понимаю, почему я рад, что в моей жизни случился Василий Николаевич Данков.

Зимой, когда я учился уже на пятом курсе, по факультету пронёсся слух о том, что Данков покинул деканат, что теперь деканом стал его заместитель.

А Василий Николаевич будет просто доцентом, просто преподавателем. Одним из многих.

А через год, после окончания университета, я встретил Василия Николаевича в гастрономе. В том гастрономе был кафетерий, и мы с приятелями шумно забежали туда перекусить. Василий Николаевич топтался в молочном отделе. Выглядел он, как всегда, только в руках держал авоську с яйцами и белым румяным батоном. Я отделился от своей компании, изменил направление движения, чтобы пройти ближе к нему. Я приблизился и поздоровался. Он посмотрел на меня, определённо сразу узнал, коротко кивнул и посмотрел в глаза. Он смотрел с таким выражением, дескать: ну что? Если хочешь что-то сказать – говори. А если нет, то иди куда шёл.

Я и пошёл.

Михалыч

Хотя я не уверен, что его звали Михалыч. По-моему, Михалыч. Но точно и без сомнений сказать не могу. Если бы я хоть раз назвал его по имени или по отчеству, я бы точно запомнил. Но я обращался к нему на «Вы» и всё. Остальные звали его Михалыч (кажется). И сам он, когда мы знакомились, сказал: «А я Михалыч». Да! Всё-таки Михалыч! Так и буду его называть. Так я его помню.

Михалыч просуществовал в моей жизни два дня. А меня он, наверное, даже не особенно и разглядел. И он, конечно, не мог догадаться, какую важную оказал мне услугу и как повлиял на многое, очень многое в моей жизни. Я признателен ему очень! И любой встреченный в моей жизни человек с отчеством Михайлович, а если он ещё и предпочитает, чтобы его звали Михалыч, вызывает у меня немедленную симпатию и теплоту. Что-то очень хорошее есть для меня в сочетании этих звуков: Михалыч. Хотя, может быть, того, о ком я сейчас расскажу, звали вовсе даже и не так.

Михалыч, за короткие два дня нашего знакомства и общения, раз и навсегда разрушил благоговейное и поэтическое моё отношение к тяжёлому физическому труду. К монотонной работе. Образ труженика, который изо дня в день делает одно и то же, образ человека, который своими руками!.. В общем, тот образ, который создавала литература, учителя, государство и так далее, померк и больше в моей жизни не воссиял. До встречи с Михалычем мне казалось, и часто казалось, что, когда я читаю какую-то книжку не самого глубокого и обязательного содержания, когда болтаю с приятелями, слушаю музыку или просто смотрю кино, я, казалось мне часто, ленюсь, пропускаю что-то важное, теряю время, а главное, бегу настоящего, простого и бесспорного труда. Михалыч помог погасить эти ощущения, а главное, погасил и спустил с пьедестала на нашу землю образ человека физического труда. Да простят меня за эти слова многие и многие.

Значит так...

Вернулся я со слу жбы в мае. Всё лето было впереди, только в сентябре мне предстояло вновь приступить к учёбе в университете. Мне шёл двадцать второй год. Я хотел свободы! Да к тому же все традиции и правила диктовали: молодой мужчина после воинской службы должен вкушать свободы в полном объёме. Те же правила и традиции сообщали, в чём заключалась эта свобода. Всего этого хотелось! Но на такую свободу нужны были свободные деньги. А их как раз не было.

Надо сказать, что к тому моменту заработанных мною денег я в руках не держал никогда. Студенческая стипендия до службы и крошечное «денежное довольствие», которое я получал во время службы, не в счёт. Короче, я решил поработать и заработать денег. Решил, поработаю пару месяцев, получу денег, поеду в августе к Чёрному морю – и э-э-эх!

А где можно было тогда заработать за два месяца денег человеку, который никакой рабочей специальности не имел и ничего толком не умел делать? Я действительно ничего толком делать не умел. На службе мне, как и всем, приходилось много и трудно чем-то заниматься. Много и помногу часов. Но на воинской службе мы всё-таки ничего определённого и осмысленного не делали. Мы всё время чего-то подделывали. То есть не красили, а подкрашивали, не строили, а подстраивали, не ремонтировали, а под... Подделывали, в общем.

Работы, мне казалось, я не боялся никакой. Коллектив, казалось, никакой мне не страшен. Я даже хотел влиться в некий трудовой коллектив и поработать, делая что-то простое, понятное, очевидное и созидательное, чтобы виден был результат труда в чём-то мною построенном и в виде денег, которые мне за это заплатят. И я, не помню как, да это и неважно, устроился в бригаду сезонных рабочих, их тогда называли «шабашники», и поехал в маленький рай-

онный центр родной Кемеровской области, ремонтировать и строить сельскохозяйственные постройки. Взяли меня разнорабочим, то есть просто взяли. Зарплату пообещали не большую, но и не маленькую. Работа должна была быть сдельная: сделали – получили. По всем моим расчётам, на дорогу и на разные радости у Чёрного моря должно было хватить.

Перед тем как поехать на работу, я даже фантазировал, как мы будем вставать с петухами в деревне, умываться у колодца из ведра. Как будем, неким мужским сплочённым трудом коллективом, весело шутить за умыванием, потом завтракать и отправляться на работу. Я представлял себе усталые вечерние мужицкие, немногословные разговоры и посиделки после работы перед сном. Представлял себе перекуры... Вот только работу я себе никак не представлял.

Понятное дело, что всё оказалось совсем не так.

В назначенный день и в назначенное время и место я явился. Там, возле старого автобуса топтались или сидели на корточках и курили человек пятнадцать мрачных, закопченных и очень понятных мужиков. Между собой они почти не говорили, так, бурчали чего-то. Мы доехали в полной тишине до городка с названием Яшкино, а оттуда меня направили в село с названием, которое я не могу назвать ни трогательным, ни забавным. В село Пача. Меня туда направили вместе с ещё одним парнем моего возраста, который был очень бледный, на руках его синели наколки (татуировки), а шея была замотана несвежим бинтом. Он явно вернулся не с военной службы. Как его звали, я не помню. Поговорить нам не пришлось, он не хотел, да и я не рвался с ним разговаривать. Нам объяснили, как добраться до Пачи и куда нам пойти, мы это и сделали. Моему спутнику по дороге стало явно плохо. Как только мы добрались до места, а добрались мы к вечеру, выяснилось, что на шее у него страшный фурункул, у него высокая температура, и его увезли куда-то в больницу. Больше я его не видел.

А меня отвели к зданию сельской школы, уже закрытой на летние каникулы. В этой школе я должен был жить, там и встретил меня Михалыч.

Тётка, которая меня сопровождала, завела меня в какую-то комнату, в которой, наверное, в обычное время сидел вахтёр или сторож школы.

– Вот, Михалыч, тебе помощник из города. Принимай, – сказала она.

В маленькой комнатке с зарешеченным и ничем не завешанным крошечным окошком, спиной к нам, на табуретке, сидел мужичок. Перед ним на покрытом газетой столике стояла стеклянная литровая банка с водой, в банке гудел кипятильник. На столе ещё было много всякой всячины: остатки какой-то еды, замызганная кастрюлька, консервная банка, полная окурков папирос. В комнате стоял сильный запах. Это был запах Михалыча в целом.

– Помощника? – не оглядываясь, спросил мужичок. – Одного? И чё мы с ним будем делать?

– Что положено, то и будешь делать! – ответила тётка. – Принимай кого прислали. Больше заработаете. Кстати, про этого сказали, что он непьющий.

– Да-а?! – оглядываясь, протянул мужичок. – Непьющий? Это как?

Он оглянулся, и я увидел опухшее и в то же время сморщенное лицо. Лицо улыбалось, глаза на лице, даже при свете лампочки, были светлые-светлые, голубые-голубые, мутные-мутные.

– Борька за вами в семь заедет. Проветри тут, Михалыч, не в берлоге же. И городского не пугай... – сказала тётка и ушла.

– Как вас зовут? – спросил мужичок, улыбаясь, и встал.

– Евгений... Можете звать меня Женя.

– А я Михалыч, – сказал он и протянул мне свою большую, сухую руку, всю в чёрных трещинках и в мозолях.

– Вооот, значит... – сказал Михалыч, явно немного смущаясь. – Тут мы будем кушать. Тут вечером чё-нибудь будем есть. А днём в столовой. Спать будем там, – он неопределённо махнул рукой куда-то. – Уборная во дворе, извиняюсь. Чаю хотите?

Я от чая отказался. Мы потоптались ещё немного, потом Михалыч притащил из угла ещё одну табуретку, усадил меня и уселся сам. Он выдернул из розетки кипятильник, вынул его из банки и насыпал чай в живой ещё кипяток. Потом он пил чай, обжигая пальцы о гранёный стакан, охал и громко втягивал горячий чай помаленьку. Мы беседовали. Он расспросил меня, кто я и откуда, обращаясь ко мне на «вы». На всё, что я о себе сообщал, он одобрительно кривил рот и поднимал подбородок вверх, иногда приговаривая: «Во как!», «Молодец!» или «Ты смотри, а!». Особенно он оценил то, что родители мои преподают в университете, что я сам студент и что служил моряком.

На мой вопрос, чем мы будем заниматься завтра, он заулыбался.

– Погода будет завтра хорошая! Сможешь стогнать скупнуться, – ответил он на мой вопрос, неожиданно перейдя на «ты», раз и навсегда. Хотя, нет, на «вы» он меня ещё назовет. – Ох, денёк будет завтра! Хорошо всё будет. Только я... – тут он запнулся, – могу матюкнуться. Матюкаюсь я. Привычка такая, что ли. Не со зла. А так, матюкаюсь и всё. Так что извиняюсь.

Потом я пошёл искать то место, где мы должны были спать. Это был обычный, небольшой школьный класс с доской на стене. Парты из класса вынесли. Вместо них стояли железные кровати с продавленными сетками и полосатыми старыми матрацами. В дальнем углу стояла койка, накрытая зелёным одеялом. Ещё одеяла и подушки лежали на другой койке. Признаков постельного белья не наблюдалось. Запах Михалыча присутствовал и в этом помещении. Не так сильно, но всё же весьма.

Когда я вернулся к Михалычу, он сидел за столом, на носу его были нелепые, старые пластмассовые очки с толстыми плюсовыми стёклами. У очков не было дужек, но зато была белая, нечистая одёжная резинка, которая обхватывала михалычеву круглую голову. Он сидел, курил папиросу и внимательнейшим образом, с благородным выражением лица читал школьный учебник «История средних веков» за шестой класс. Губы его иногда прошевеливали беззвучные слова, и в этих артикуляциях угадывалось: «Во, как!», «Ты смотри!» или «Ети её мать!».

Теперь вижу необходимость описать Михалыча подробнее. Во-первых, чтобы было понятно, запах Михалыча не был тем самым запахом, который ударяет не только по носу, но и даже заставляет глаза слезиться, когда заходишь ночью, летом, в купе вагона поезда «Владивосток – Москва» в Новосибирске, а в купе спят четыре мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. От Михалыча вообще не пахло какими-то человеческими выделениями (прошу прощения за подробности).

Запах Михалыча состоял из сильного и очень давно накопившегося запаха табака и нечистой пепельницы вместе. К этому добавьте стойкий перегар. Этот перегар был так же глубок, как коричневые следы папирос у Михалыча на пальцах и губах, и перегар этот был так же стар, как виски, которые впитались в самые старые бочки самых лучших шотландских производителей. Хотя пропитан Михалыч был далеко не виски.

Ещё в его запахе была сильная составляющая лука, чеснока, хлеба и вообще еды. Был там запах коровника, каких-то горюче-смазочных материалов, дорожной пыли и ветра и много-много других оттенков. Я просто не мог их идентифицировать, потому что не знал деревенской жизни.

Михалыч был небольшого роста, такой невысокий, нетолстый, но со стариковским пузом мужичок. Лет ему было непонятно сколько. Таких, как он, когда не знают, как обратиться, часто называют «отец». (Ну, например, «Отец, как проехать туда-то?» или «Отец, а где у вас здесь магазин?».) Так его называли уже, наверное, давно. Видно было, что Михалыч уже давно

Михалыч. Я его ощущал как человека, который точно много старше моего отца, но также много младше моего деда. Короче, непонятно, сколько лет было Михалычу. Много!

Одевался Михалыч в старые-старые тёмные брюки, натянутые на пузо выше пупа и опоясанные тоненьким засаленным ремешком. Ещё он носил одну фланелевую рубашку, какую-то коричневую, и всегда на нём был непонятного цвета пиджачишко, который давно превратился в какую-то сильно потёртую, особенно в локтях, запачканную в районе карманов и пораненную во многих местах курточку. На ногах его были тёмные носки, которые он при мне не снимал. Обувался он в старые совсем пыльные сандалии. Но возле его койки стояли кирзовые сапоги. Ещё под его койкой стоял маленький дермантиновый, сильно побитый жизнью чемоданчик. Там, наверное, он хранил ещё какие-то вещи, но при мне Михалыч его не открывал.

Стрижен Михалыч был коротко, с чубчиком. Волосы его не были седые, а были какие-то, скорее, сивые. При мне он не брился, и его щёки покрывала серебристая, почти прозрачная щетина. Лицо Михалыча было сильно обветренным, загорело-закопчённым и очень добрым. Мягкость и доброта видны были в каждой чёрточке и складке его умной и улыбчивой физиономии.

Ещё у Михалыча были старые часы на кожаном ремешке, которые он бережно заводил, снимал и клал в карман пиджака, когда работал.

Спал Михалыч в своём углу тихо, только иногда всхрапывал, да постанывал иногда. Спал в брюках, майке и носках. Я тоже не раздевался и спал поверх одеяла. Уж больно запятнаны были матрас и подушка.

Утром Михалыч сидел на крыльце школы и курил. Я обнаружил, что воды в школьном умывальнике нет вовсе. И поинтересовался у Михалыча, где можно помыться. Он растерялся.

– На речке можешь выкупаться. Вода тока ещё холодная. А в столовой перед обедом тоже руки можно помыть. Да где хочешь можно помыться, – только и сказал он.

Утром нас отвезли довольно далеко от самого села. Вёз нас на тракторе некий мужик Боря. Трактор был с прицепом. В прицепе лежали листы волнистого шифера и какие-то ещё штуки. Ящик с инструментами Михалыч достал из-под стола, за которым ел. Ящик он в кузов не поставил, а держал всю дорогу на коленях.

Не буду вдаваться в ненужные подробности. В общем, мы с Михалычем крыли шифером крышу низкого длинного деревянного строения. Кажется, телятника. Это тоже не важно. Я занимался таким делом впервые. Точнее, я помогал Михалычу делать это дело.

Шифер из кузова трактора мы выгружали с Борей, чем Боря был сильно недоволен. Он же был тракторист, а я был «не пришей кобыле хвост». Нас таких должно было быть двое, но, как вы знаете, остался я один. Так что пришлось Боре помочь мне, иначе я поколол бы весь этот шифер. Знаете, этот шифер, чёрт возьми, довольно тяжёлый и чертовски хрупкий. А листы этого шифера очень неудобного размера для ношения их одним человеком.

Михалыч к разгрузке не притронулся. Он сразу пошёл степенно обходить этот телятник, прищурившись, вглядываясь в его крышу.

Боря, матерясь и ворча, закончил вместе со мной разгрузку, скинул в траву всё, что ещё было в кузове, сказал, что перед обедом заедет, и ускакал на своём колёсном тракторе по кочкам в сторону села.

Первые два часа Михалыч мастерил лестницу, которой в наличии не оказалось. Я пытался ему помочь, но он с улыбкой спокойно отвергал мои попытки. Лестницу он смастерил из двух старых, почерневших, но ещё крепких жердей и для перекладин попилил часть забора, который местами отгораживал один бурьян от другого. Делал Михалыч всё очень медленно, без замеров, на глазок, я слонялся и ждал. Лестница получилась у Михалыча довольно корявая, очень тяжёлая, неудобная, но вполне пригодная и крепкая. Так, видимо, у Михалыча получалось всё, что он делал.

Крыть двускатную крышу шифером – дело нехитрое. Единственно, мне одному было очень тяжело таскать листы этого шифера, а ещё труднее затаскивать их наверх по михалычевой лестнице, и подавать их Михалычу. Он же сам сидел на крыше, принимал у меня лист за листом. Я держал шифер снизу, а он прибивал его гвоздями к доскам, вот и всё. Шифер кладётся снизу вверх, сначала нижний, а потом всё выше и выше. Самый верхний нужно было пилить. Шифер легко пилится обычной ножовкой (такой обычной пилой). У Михалыча были и линейка, и рулетка, и даже маленький огрызок карандаша. Он даже всё это извлёк из ящика с инструментами, а карандашик ещё и заложил за ухо. Но пилил шифер он без разметки и измерительные приборы тоже не применял. Отрезал он этот шифер на удивление довольно ровно, но не совсем, в итоге, довольно коряво у него сходились листы.

– Нормально, нормально! Даже очень хорошо. Лучше, чем было-то, – чувствуя мой немой вопрос по поводу корявости стыков, улыбаясь, сказал Михалыч. – Нам же из этого не стрелять. Хорошо всё.

Он вообще всё время улыбался. Говорил в процессе работы мало, курил много, делал всё медленно. Забивая гвоздь, каждый раз надевал на нос свои очки, а потом поднимал их на лоб. Очки были на резинке и поэтому держались крепко. Он ловко лазал по крыше, наступал на шифер легко и осторожно, по гвоздям бил метко и с оттяжкой. Все инструменты у Михалыча были старые, даже древние. Ручка ножовки была изготовлена явно самим Михалычем и обмотана была синей изолентой. Молоток его на длинной ручке казался мне маловатым для забивания больших и длинных гвоздей. Но гвозди заходили под его ударами ровно и как по маслу. И ещё молоток этот был с очень высоким, звонким, но приятным деловым звуком. Топоров у Михалыча имелось два. Один большой, другой маленький. Острые такие, приятно лежащиеся в руку, с почерневшими ручками топоры. Я думаю, этим топорам было лет больше, чем мне.

Если топор на топорище начинал болтаться, Михалыч быстренько вытёсывал клинышек и закреплял топор, ножовку он часто и быстро подтачивал. Но в целом он работал очень медленно. Я же просто таскал шифер и подавал ему. Ещё я подавал ему гвозди и иногда нужный инструмент. Так и работали.

Михалыч периодически, видя мою усталость или неловкость, говорил какие-нибудь странные вещи, которые никакого смысла не имели, но хохотал я сильно. Заметив, что мне нравятся его прибаутки и что я смешлив, он иногда доводил меня просто до слёз.

– Жень, – сидя на крыше верхом и глядя, как я корячусь с листом шифера, говорил он. – А вас в университете немецкому языку учат?

– Учат, – из-под шифера говорил я. – Но я изучаю английский.

– Ну, ауфидерзейн, тогда! Айне кляйне поросёнок вдоль по штрассе пиздовал! – громко сообщал он.

Я чуть не падал от смеха, а он с удовольствием выпускал папиросный дым изо рта и носа.

Когда нужно было отрезать кусок шифера не совсем простой формы, Михалыч спускался вниз и пилил его на земле.

– Принеси, пожалуйста, во-о-н тот лист сюда, – говорил он мне, спустившись.

– Сейчас принесу, – отвечал я и тащился за шифером медленно, уже настроившись на михалычев ритм.

– Ой-ой! Не спеши так! Куда ты бежишь-то? Погода такая! Отдохни, всех денег не заработаешь! – бубнил он мне в спину и наверняка улыбался.

После того как я долго и медленно поднимал и ставил вертикально тяжёлый лист шифера, потом укладывал себе этот лист на спину и долго нёс его на указанное место, он бормотал: «Так, так его, молодец! Сюда, сюда. Клади его. Аккуратненько! Вот так!»

Я укладывал шифер на траву. Он внимательно рассматривал его и как он лежит. Потом отступал на полшага назад, как в представлении всех обычных людей делают художники, отступая от мольберта, чтобы лучше рассмотреть картину. Он явно любовался и самим шифером и,

главное, тем, как я его положил. Потом он переводил взгляд на меня и заглядывал мне прямо в глаза.

– Талантливо! – восхищённо говорил он.

Я опять хохотал, а Михалыч только шурился.

Или как-то раз, когда он попросил подать ему гвозди, я сходил к ящику за гвоздями, поднялся к нему на крышу и протянул их ему, он взял гвозди у меня не сразу, а рассмотрел их в моей руке, потом бережно взял левой рукой.

– Спасибо! – с какой-то невероятной благодарностью сказал он, наклонился ко мне, пожал мне руку, которой я подавал гвозди. – Спасибо! – покачал головой. – Хорошие! Молодец! – и подмигнул мне.

Обедали мы в сельской столовой. Это было строение с магазином и столовой. Направо от входа – магазин, налево – столовая. В столовой сидели только мужики. Их было немного, и они, скорее всего, были какие-то водители, по всей видимости, не местные, в смысле, откуда-то из этого района, но не из самого села. Они молча ели суп, низко наклонившись над тарелками, после каждой ложки откусывали хлеб и жевали, рельефно двигая челюстями.

Некоторые поздоровались с Михалычем. Михалыч всем кивнул.

Еду брали и платили деньги в одном окне, которое вело на кухню. Окно было обито жестью, оттуда вкусно пахло едой. В этом окне можно было увидеть большую плиту, на которой стояли огромные кастрюли, и двух тёток в халатиках. Про такие халатики пишут: «они когда-то были белыми». Выбора еды не было. Точнее, еда была без выбора. Один суп, одна каша и один компот. Хлеба можно было взять сколько угодно.

Суп названия не имел. Кашу никто не брал, каша была гороховая. Компота брали по два стакана. Ещё мужики все брали по стакану сметаны. И все ели только суп, несколько раз подходя за добавкой.

А мне, чёрт возьми, так захотелось этой гороховой каши. Но я не решился её попросить. Особенно после того как мужик, который брал еду перед нами с Михалычем, от каши отказался категорически.

– Какая у вас каша?! – переспросил он. – Гороховая? Да ты её своему мужику отнеси, глядишь, его ночью подкидывать будет, – сказал он в окошко тёткам и гордо оглянулся на всех, кто сидел в столовой. Все засмеялись. – А мне ещё в Яшкино туда и обратно три раза дёрнуться. А у меня противогаза нету, – опять все засмеялись.

Я попросил суп и компот.

– А мне каши, девчата, положите, – сказал Михалыч. – Я на крыше до вечера посижу, а там ветерок, знаете ли, птички поют. Красота! Женя, захвати мою кашу, – сказал он мне и подмигнул. – А мне ещё супчика-голубчика налейте. Без супа какая работа? Так, возня! Ни сердцу, ни здоровью.

Я отнёс тарелку с супом и кашей за стол у окна, успел сходить за компотом, хлебом, ложкой и вернулся к столу, а Михалыч всё болтал с поварами.

Потом он бережно-бережно двумя руками взял свою тарелку с супом. В каждой руке у него ещё было по два куска хлеба. Супа ему налили, что называется, с горкой. Он осторожно пошёл в мою сторону, глядя своими мутными голубыми глазами прямо на суп. Ноги он не переставлял, а передвигал тихонечко, шаркая сандалиями по полу. Поверхность супа чуть-чуть дрожала.

Вдруг он слегка споткнулся или оступился, а может быть, просто потерял равновесие от напряжения и ответственности. Короче, он качнулся вперёд, и половина супа пролилась на пол. Михалыч с грустью посмотрел на пролитое, виновато огляделся по сторонам, убедился, что на него никто не смотрит (смотрел только я, но он этого не видел).

– Ну вот, ёбаный супчик-голубчик! – сказал он тихо и сам себе, перешагнув через пролитый суп и подошёл к столу. – Вот что лень с человеком делает. Хотел сразу две горошки

на ложку, – сказал он садясь. – А кашу я тебе взял. Ешь, ешь. Здесь они её хорошо делают, видишь, как разварили. Ешь, не стесняйся. Музыку я люблю, нюх у меня слабый, а сплю я крепко... – проговорил он грустно, поднося кусок хлеба ко рту, а ложку к супу.

К вечеру мы сделали больше половины работы. Закончили, когда стало темно. Я очень устал и проголодался, но был уверен, что можно было закончить весь сарай за день. Я даже что-то в этом роде сказал Михалычу.

– А зачем торопиться? Место тихое, погода хорошая, – удивился он, – лучше здесь вошкаться. Лучше работать в хорошем месте...

Я возразил в том смысле, что работа-то сдельная и что время, мол, деньги.

– А-а-а, – протянул Михалыч, – да-да. Деньги нам за удовольствие не заплатят. А ты куда торопишься?..

Поздно вечером мы с Михалычем отварили картошки в мундирах и открыли банку тушёнки. Всё это были его запасы. Он ел мало, больше пил чай и курил. Я съел львиную долю, было вкусно. Про мытьё я Михалыча не спрашивал. Лёг спать, как он, не умываясь и не снимая носки.

– В пятницу в баню пойдём, – практически засыпая, пробормотал Михалыч.

На следующий день, к обеду, мы закончили сарай, и я впервые в жизни видел строение, крышу которого помогал делать собственными руками. Следующий сарай я мог бы сделать уже полностью самостоятельно. Дело было нехитрое.

Пообедали в той же столовой. После обеда Михалыч утащился куда-то, я ждал его час. Он не вернулся. Мне ничего не оставалось, как вернуться к школе. Но школа была закрыта, ключ остался у Михалыча. Я долго сидел на крыльце, слонялся по маленькому школьному дворику. Пытался сердиться на Михалыча и ещё пытался огорчиться, что теряю время, которое можно было бы провести, занимаясь полезным и оплачиваемым трудом. Рассердиться и огорчиться не получилось. Лето! Бесконечно долгое лето! Лето не давало мне думать плохо и переживать.

Михалыч явился, когда я задремал в тени школы на скамейке. Было уже часов семь. Стоял такой хороший безветренный тёплый вечер, почти день, но уже без мух и ещё без комаров. Михалыч пришёл выпивший, весёлый, бодрый и с гостинцами. Он не стал извиняться за отсутствие, весело меня разбудил и радостно выложил на скамейку гостинцы.

– Я тут хорошим людям помог. Не показывал у них телевизор, а теперь показывает. Ох, они довольные остались. А я-то им не сказал, что от антенны провод оторвался и всё. Ну, рожу сделал серьёзную и наладил. Они довольные! – бодро и безостановочно заговорил он. – Я-то в этих телевизорах ничего не понимаю. А у них провод оторвался, не буду же я им говорить, что это у них не поломка, а так, чепуха. Я рожу серьёзную сделал. А телевизор теперь показывает. Не-е-ет! Я какую технику другую всегда починю. Трактор, насос, мопед – пожалуйста. Там, стогомёт, сеялку – ради Бога! Слесарку, столярку любую – милости просим! А электричества я боюсь. Я всем сразу говорю: тока (имелось в виду слово «только») я боюсь тока. А телевизор показывает.

Михалыч был пьяненький и довольный собой. Он принёс варёных яиц, варёной картошки, конфет, десяток сушёных плотвичек (это рыба такая), половину варёной курицы, зелёного лука, хороший круглый домашний хлеб и банку молока. Бутылку самогонки он достал последней, с особым выражением лица.

– А вы же у нас не выпиваете?! – вдруг на «вы» спросил он. Я отрицательно покачал головой, в том смысле, что действительно не выпиваю. (Тогда мне казалось, что не выпиваю.)

– Понимаю! – одобрительно сказал Михалыч. – Одобряю! – на этих словах он сделал какой-то жест ладонью, как бы что-то отрезающий, и достал из кармана маленький гранёный стаканчик, зеленоватого стекла. – А я выпью.

Он налил полный, «с горкой», стаканчик самогонки и без тоста выпил, медленно, отчётливо глотая. Допив, он не сморщился, поставил стакан на скамейку, отщипнул длинную стрелу

зелёного лука, переломил её несколько раз, неторопливо положил в рот, стал жевать и заулыбался, жуя. Щетина на его щеках как-то особенно серебрилась в этот момент и в этом вечернем свете.

На мой вопрос, где и что мы будем делать на следующий день, он не ответил. Точнее, сморщился и махнул рукой, мол, не сейчас об этом.

А потом он поведал мне много разных фактов своей жизни. Я пил молоко из банки, отламывал от хлеба самые твёрдые куски корочки и слушал. Слушал невнимательно и снисходительно, как слушают стариков юные люди. Но не без удовольствия. Мне приятно было сидеть, наслаждаться воздухом, в котором не чувствовалось ни движения, ни температуры. Приятно было, что меня ничего не тревожит и что нет никаких желаний. А какие могли появиться желания и нереализованные возможности в селе Пача? Да и голос Михалыча, его способ рассказывания как-то сильно со всем этим совпадали.

Михалыч рассказал, что родился он давно в деревне Новороманово, которое недалеко, но в другом районе, потому что за рекой. Школу он не закончил по причине войны и наличия только начальной школы у них в деревне. Но он сказал, что любит читать с детства и любые чертежи понимает и разбирает. Он говорил, что начал он работать помощником слесаря на железной дороге в городе Юрга. – Это тоже недалеко, говорил он и показывал руками, как бы указывая направления, в котором находились те или иные деревни, сёла, городки.

Потом он служил в армии четыре года, там научился шоферить. На мой вопрос, где он служил, он сморщился, мол, не перебивай. После армии вернулся опять в Новороманово. Работал в колхозе, умел работать и на тракторе и... на чём хочешь. Потом женился. Потом Михалыч ещё выпил точно так же, как в первый раз. Его рассказ стал сбиваться и терять последовательность. Да и я терял внимание.

Помню, он говорил что-то про дочь, про сына что-то говорил. Да, помню, говорил, что дочь его уехала в Казахстан, давно, там и живёт с мужем и детьми, он её не видел давно. А про сына я не помню, что он говорил. Про жену свою он говорил как-то совсем туманно. Помню точно, что Михалыч, по его рассказам, долго работал на пароме, где-то недалеко от Томска. Там у него тоже остались какие-то дети. А после парома он поработал и пожил, кажется, во всех деревнях и сёлах в радиусе ста километров, если за центр такой окружности взять его родное Новороманово. Где-то он жил по несколько лет, где-то работал зиму истопником, где-то просто ошивался. Он называл массу имён и фамилий тех, с кем работал и жил. Если он не мог вспомнить имя, он прерывал рассказ, морщил лоб и мучительно вспоминал.

– А! Аркашка! Да, мы тогда с Аркашкой работали на пилораме в Морковкино. Аркашка здоровый был. А потом его язва скрутила, за полгода высох мужик, сгорел, как и не было.

И рассказ продолжался.

– Так, где же вы в армии-то служили? – окончательно запутавшись в именах, названиях и разнообразных профессиях, которые так и сыпались из михалычевых сюжетов, спросил я.

– Где служил? А в Германии. Ещё Ста лин был жив. Сначала в Смоленске полгода, а потом в Германии. Всю объехал. Я и на «Студебеккере», американском грузовике, ездил. Хороший грузовик был. И генерала возил на «Минерве». Шикарная такая машина. Бельгийская! И на ихнем «Опеле»... А ты чё так удивляешься? В Германии. Да-а...

У меня чуть кусок хлеба изо рта не вывалился. И глаза мои так округлились... Михалыч торжествовал. Он просто сразил меня такой новостью. Я засыпал его разными вопросами. Мне, человеку, ни разу не побывавшему за границей, было интересно всё. Но Михалыч не отвечал на мои вопросы. Он рассказывал то, что хотел рассказать.

– Очень хорошая там у них природа. Богатая! И климат хороший. Всё растёт! – развивал он интересующую его тему. – Деревья у них красивые, большие! И много разных. У нас тут что? А? Вон – берёзы, осины, тополь. А что тополь? Дерево гнилое. Ну, ещё сосны да ели. Но ёлка тоже материал не тот. А у них там. И дуб, и клён, и липы, знаешь, какие большие, и

всякие другие деревья хорошие. Так ведь и яблоки, и вишня. Всё растёт. А цветы? Чуть не круглый год. И травка зелёная всю зиму, и земля не промерзает. Снега-то нету. Так, выпадет день-другой. Ох, немцы переполошатся тогда.

Тут Михалыч засмеялся сам себе, налил стаканчик и выпил, как два предыдущих.

Он много говорил про то, какие у немцев хорошие коровы, что после войны они быстро всё почистили, «подмели» он сказал. Что сами они люди очень хорошие, добрые, всегда поздороваются. Но что с ними нужно всё равно держать ухо востро. Что едят они просто. Всё у них невкусное, кислое какое-то. Что пиво у них «доброе», а «шнапс ихний – сивуха поганая», и голова от него сильно болит.

– А постройки у них все на века. Всё они делают на века. Вот ездил я мимо одной деревни три месяца туда-сюда, там один немец строил сарайчик такой у дороги. Это недалеко от Бишев-сверде было, городишко такой у них на юге, как щас помню. Ну, не сарайчик, а домишко. Не знаю для чего. Дом-то у него рядом стоял. А он строил домишко. Не баню. Бань у них нету. У них и уборные и ванны – всё в доме, даже в деревне. А он домишко строил. Еду утром, он ковыряется, вечером еду, а он всё своё. Так ведь сделал, один. Из камня сложил. Залюбуешься. И на века. Три месяца я мимо него ездил. Уже здороваться стали. Я ему погудю, а он мне рукой помашет. А потом смотрю, закончил. Я даже остановился. Вышел, посмотрел. Всё тютелька в тютельку сделал мужик. Красиво, аккуратно.

– Не то что мы, да? – не без издёвки спросил я.

– Да уж конечно! Нам бы немцы за такую нашу работу руки бы поотрывали, а не то что денег дали, – искренне согласился Михалыч. – А у них по-другому нельзя. Там же кругом всё красиво, чистенько. Я бы тоже так смог. Так даже веселее, когда красиво. Только не надо тут этого. Лучше, чем как надо, не надо, – сказал он странную фразу, которую я тут же запомнил. – Иногда можно маленько получше, под настроение. Но маленько.

Он ещё рассказывал что-то. Но потом ему надоело, и он заёрзал. Было уже темно, и комары стали заедать.

– Пойду-ка я схожу тут, к одной моей... – он замаялся, – приятельнице. Пока не поздно, схожу. Чаю попьём. Я ей обещал. Ты тут всё собери, занеси на место, вот тебе ключ. А я схожу. Банку не разбей. Молоко допьёшь, банку надо вернуть.

Он посмотрел на бутылку самогонки, в которой осталась едва треть содержимого, вырвал из хлеба мякиш, заткнул им горлышко бутылки, встал, взял со скамейки свой стаканчик. Михалыч три раза стряхнул стаканчик в сторону, вытрясывая из него последние капли. Потом он засунул стакан в один карман, а бутылку в другой.

– Да! По деревне не шастай. Ложись спать. Ну, в общем, из школы не ходи, – сморщившись и заметно пьяно сказал он. – Куда тебе здесь ходить. Нечего тут искать. Девки у тебя в унирситете лучше, грамотнее. А пацаны здешние отмудохают без разговоров. Им же городского поймать – это же слаще сахару. Да ещё пьяные какие попадутся. А ещё ножик у кого-нибудь будет. Не надо тебе этого, – сказал он и пошёл со школьного двора. Пройдя шагов десять, он остановился и оглянулся. – Я приду утром, разбужу тебя. Спать не приду. Я пьяный храплю сильно, говорят, да ещё и матюкаюсь во сне. А в пятницу в баню пойдём. У моих тут знакомых баня хорошая, звонкая, – на этих словах он сжал руку в кулак и потряс им, – возле речки прямо баня. Печку я сам ложил. Давно уже. Я тебя попарю.

Тут он развернулся и пошёл прочь.

Больше я с Михалычем не разговаривал никогда.

Но тогда я об этом не знал. Я стоял, смотрел ему вслед. У меня не укладывалось в голове то, что вот, человек родился в глухой сибирской деревне, ни черта кроме таких же деревень да посёлков не видал, ну разве только выезжал в город за какой-нибудь надобностью, да и то несколько раз в жизни. И вот он исколесил всю Германию. Он видел совершенно другую

жизнь... Но вернулся спокойненько. Всё про всё понимает и не хочет ничего. А почему же я-то хочу?..

Утром Михалыч меня не разбудил. Я сам проснулся, когда солнце поднялось уже высоко. Михалыч не пришёл и к полудню. Я сидел, ждал его, пил чай с молоком, ел подсыхший хлеб. Захотелось помыться, побриться, сменить одежду. Только часа в два заехал Боря на тракторе и привёз с собой ту тётку, которая меня два дня назад привела к Михалычу.

– Давай, собирайся, – сказала она с порога.

– Хорошо. А куда? – сказал я.

– Отвезём тебя, тут недалеко, на турбазу. Там бригада другая живёт.

– А Михалыч? – спросил я.

– Запил Михалыч. Неделю будет пить. Пора ему. Уже недели три держался, – сказала она. – Да ты не переживай. Ты с Михалычем не заработаешь. Он собачью конуру будет неделю делать. А там мужики помоложе, приезжие, им рассусоливать некогда. Так что собирайся.

Три дня я после этого работал в бригаде из шести человек. Мы делали крышу другой постройки. Та крыша совсем прохудилась, в некоторых местах провалилась полностью. Мужики были, как мужики. За папиросами я им бегать отказался сразу. Когда они на это показывали зубы, я показывал зубы в ответ. На этом мои неприятности в коллективе закончились. Я им был неинтересен, а они мне. Работал я так же, на подхвате, подай-принеси. Старался делать всё быстро и толково. Попытки помыкать мною пресёк на корню. Навыков со службы накопилось в этом смысле достаточно. Проработал я с ними три дня, крышу мы закончили, и я уволился. Мужики меня уговаривали остаться, но я не остался.

Бригадиром той компании был сильно деловой маленького роста армянин. Сам он не работал с нами, только жил, правда, в отдельном домике. Он деловито приходил утром на работу, давал какие-то указания, а потом исчезал. Говорил, что о чём-то договаривался всё время.

Он мне, после некоторых препирательств, выдал мои деньги за три дня работы и за тот сарай, что мы покрыли с Михалычем. Денег он дал совсем мало даже для такого короткого трудового пути, каким был мой. Он объяснил, что у них украли какие-то инструменты или строительные материалы. В общем, что-то у них украли. И поэтому вся бригада гасит потерю из своего заработка. Он сам, как он сказал, страдает больше всех, в материальном смысле, конечно.

Я безропотно взял те гроши, которые он мне дал. Забрал свой рюкзак и пошёл на автобусную остановку, чтобы вернуться домой. Автобус останавливался возле той самой столовой-магазина. Там я дождался этого автобуса, сел к окну и поехал.

Михалыча я увидел мельком, как только автобус отъехал от остановки. Он стоял у калитки одного из дворов спиной к дороге и через калитку разговаривал с какой-то тёткой и маленькой девочкой. Михалыча я узнал сразу. Девочка смеялась. Тётка проводила автобус взглядом, а Михалыч даже не оглянулся и не посмотрел в сторону проезжавшего мимо него дребезжавшего автобуса. Я Михалыча больше не видел никогда.

Я ехал тогда домой, и настроение моё было гадкое. Я думал и ругал себя за то, что не справился и не смог заставить себя поработать ещё. Я чувствовал себя слабаком и лентяем. Но я также понимал, что не мог я больше заниматься таким вот физическим трудом, делая абь как абь что, только по той причине, что мне за это заплатят деньги.

А после работы с Михалычем я совсем не мог работать с теми мужиками. Я в работе как-то не мог почувствовать процесс. Я выполнял набор действий, который, конечно, вёл к какому-то результату, ну, как минимум к денежному вознаграждению. Но в этих действиях для меня не было жизни. Я чувствовал только тоску.

Без Михалыча не было в моих действиях какой-то связки. Эту связку некоторые называют смыслом.

Я ехал домой и смутно догадывался, что, наверное, не смогу никогда делать такую работу, причиной исполнения которой будут деньги. Только деньги и всё. Я догадывался, я чувствовал это, и мне становилось страшно от такой догадки. Потому что следом за этой догадкой шёл вопрос: «А как жить-то?» Страшно, правда?

Где-то теперь Михалыч? Жив ли? В принципе, может быть, жив, даже вполне. А если нет?.. Где и как окончил он свои дела? В какой деревне или посёлке, с кем? Кто проводил его в последний путь, кто выпил на его поминках? И что написано на надгробье его могилы? Может быть, там написано, что он вовсе и не Михалыч? И кто приходит на эту могилу?

Хотя я надеюсь, что жив он, и поскрипывает где-то, и коптит небо дешёвыми папиросами.

Сколько их, таких мужичков, живёт по этим деревням, нарезая, кто большие, кто меньшие, круги по жизни. Чего-то они поделявают. Кому-то они нужны. Кто-то их ждёт. Кто-то их любит.

Я вот встретил Михалыча. Спасибо ему! Встретил бы сейчас, узнал бы сразу. И выпил бы с ним, чего бы он мне ни налил.

Да, кстати, денег я тем летом так и не заработал. Родители дали мне немного, но достаточно, чтобы я съездил... ну, не на море, а ненадолго в Москву к родственникам. Так, осмотреться.

Над нами, под нами и за стенами

Наша с моей женой первая отдельная квартира была очень долгожданной. Это была однокомнатная квартира на девятом этаже десятиэтажного дома в совсем новом районе города Кемерово. Как же мы её ждали, как мечтали о ней, как непросто она нам досталась. Навсегда запомню адрес: улица Свободы, дом 13. Вот номер квартиры не помню. Так бы показал, а номер не помню.

Улица Свободы! Каково? И конечно, как это бывает в каждом городе... В каждом городе есть свои курьёзы, связанные с названием улиц или памятниками. Так вот, улица Свободы упирается в тюрьму № 5. В простонародье – «пятёрочка». Из этого следует, что улица Свободы находится не в самом престижном месте города. А особенно тогда, когда мы въехали в наш дом и в нашу квартиру, райончик был ну совсем не престижный. Просто, за существующей до появления улицы Свободы окраиной, построили длинные многоэтажные дома. Дома эти были минимум в десять этажей, длинные такие дома. Раньше подобные дома называли «китайскими стенами». Но наш дом был необычной формы. Его выстроили круглым, точнее, в виде раковины улитки, с большим круглым двором. Непонятно, зачем его сделали таким. Видимо, рассчитывали, что так можно спасти одну сторону дома от ударов сильных и студёных сибирских ветров. Не знаю, чего хотели архитектор и строители, но ветер жутко завывал в этом дворе, как в трубе, и поднимал в воздух снежные, а летом пыльные смерчи.

Но мы были счастливы. Мы с Леной (женой) впервые въехали в дом, который называли своим, и впервые остались совершенно одни хозяйничать в своей первой, маленькой, но своей квартире. И весь дом заполнялся такими же, как мы, счастливыми людьми разных возрастов, которые тоже впервые въезжали в свои жилплощади или в новые, более просторные, чем те, что были у них до этого, квартиры. Первые месяцы было много радости в доме. Не на всех окнах были шторы (а шторы в круглом доме вещь небесполезная), но радости было много. Дом некоторое время сотрясали новоселья, свадьбы, а потом пошла обычная жизнь. Только разве что в нашем доме и в соседних чаще, чем в старых домах, рождались дети. Наша дочь родилась там. Там было много радости, в доме № 13 по улице Свободы.

И ещё там у нас появились наши первые соседи. Именно наши. И Лена и я, мы до того, как поженились и въехали в нашу первую квартиру, с самого детства жили в домах с соседями. Мы не с Луны упали на улицу Свободы, 13. Но когда мы были детьми, жили с родителями, соседи были, скорее, родительские, чем наши. А соседи были, я их помню. То они нас заливали водой, то мы заливали нижних. То они устраивали шумные праздники с песнями и плясками или скандалили с грохотом посуды, беготнёй среди ночи и опрокидыванием мебели, то мы шумели. На Новый год и нескольких других праздниках мы шумели параллельно, неодинаково, но параллельно. Но во всех ситуациях все вопросы с соседями решали родители. Это папа ходил разбираться наверх, когда с потолка текло, или вниз, извиняться, когда прорывало батарею у нас. Это к родителям приходили соседи перехватить денег до зарплаты или по каким-то другим соседским надобностям типа спичек, молотка или топора. Я же только здоровался с соседями во дворе или на лестнице.

А на улице Свободы, 13, соседи появились лично у нас, и уже нам надо было выстраивать с ними взаимопонимание. Дом был большой, людей в нём жило много. В нашем подъезде на десяти этажах жили люди, которых я не всех знал в лицо. Но тех, кто жил над нами, под нами и за стенами, я помню хорошо и не забуду.

В подъезде был лифт и четыре квартиры на каждом этаже. Все квартиры были разного размера. Наша, конечно, была самая маленькая. Дом был новый, бетонный, построенный быстро... Слышимость в доме была такая!.. Квадратных метров в нашей квартире было мало, а посторонних звуков, идущих со всех сторон, было много. Особенно в первые месяцы после

заселения. Все, и мы в том числе, что-то постоянно сверлили, прибивали, пилили, расставляли мебель, подвешивали полки и гардины. Возле подъезда часто громоздились остатки упаковки от новых диванов или коробки от свежих холодильников или телевизоров. Заселялся дом осенью и более или менее затих к концу весны.

Помню первую нашу зиму в новой квартире. Очень счастливую зиму. Весь дом гремел, но мы с Леной не обращали на это внимания. Помню зимние вечера, когда к одиннадцати часам замирали последние удары молотков и скрежет дрелей. Дом засыпал, а мы смотрели кино, пили чай, слушали завывание ветра в круглом дворе нашего дома. В этот круглый двор выходили оба окна нашей квартирки. Мы тогда могли до утра фантазировать и строить разнообразные планы. Мы представляли, как будем принимать гостей, как и когда купим стиральную машину. Обсуждали, какой нужно купить пылесос и как бы мы обустроили вторую комнату, если бы она у нас была. До сих пор, когда по телевизору показывают фильм, который мы впервые посмотрели в один из тех вечеров (ночей), мы с женой с удовольствием вспоминаем те ощущения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.